

«Пять звезд»

ДЕМОН СОЛЖЕНИЦЫНА

(Окончание. Начало на стр. 9)

Собственно, политика Твардовского в тот момент была та же, что и с Иваном Денисовичем — заполучить текст для своего журнала и потом осторожно, используя свои связи и благоприятные обстоятельства, бороться за то, чтобы он был напечатан. Но для этих издательских хлопот нужно было, чтобы автор «сидел тихо» и жал, не давал текст в самиздат, откуда он легко мог перетечь к зарубежным издателям. А Солженицын этих правил игры не хотел соблюдать, не понимал (или не хотел понять), что, если бы Твардовский даже своей волей поставил его роман в номер, этот номер не дошел бы до читателей (как потом и случилось в декабре 68-го). И естественно, редактор, узнав в августе 66-го о том, что текст, который он рано или поздно надеется опубликовать, широко ходит по рукам, зовет к себе автора, дабы объяснить, а в ответ получает письмо: «Я не могу допустить, чтобы «Раковый корпус» повторил печальный путь романа». Твардовский обижен буквально до слез. Вель он знает, что путь «Круга» стал особенно печален лишь после того, как Солженицын забрал текст из «НМ» и фактически своими руками отдал его КГБ.

А если и не знает точно, то чуть какой-то полдоса, догадывается, что АИ в момент слачи «Круга» был не в себе, «перджен». Вмст такие вещи так или иначе когда-то все-таки понимаются. Даже сам Солженицын уже к концу дна пришел к осознанию того, что он руководит кака-то сила: «О, я кажется уже начинаю любить это свое новое положение, после провала моего архива! <...> Теперь-то мне открылся высший и тайный смысл той горя, которую я не находил оправдания, того швырка от Верховного Разума, которого нельзя за предвдлеть нам, маленьким: для того была мне послана моя убийственная беда, чтоб отблть у меня возможность тайнтся и молчать, чтоб от отчаяния я начал говорить и действовать».

Ибо — полоним слухи... «Сроки» действительно подошли — на пороге 67-а. Но вот «Верховный Разум» — это слишком наивно. Не стоит называть демона, которым ты одержим и который толкает тебя на необдуманные поступки, «Верховным Разумом». Это нелозумение. И коренится оно в том, что наш писатель слишком превалила самоограничением не только в бугу, но и в области, как сказать, ментальной. Собирав волю и силы в кулак для творческого прорыва на ограниченном участке, он суживал свой кругозор. Читал только то, что, как ему казалось, может понадобиться для работы. И потому не получил представления о некоторых областях знания. В частности — о психологии. Вот если бы он интересовался этой наукой, он, наверное, лучше бы понимал, кто им руководит.

Кстати, здесь уместно объяснить, что Нахрат — это вовсе не демон в психологическом смысле этого слова, а просто психологическая структура, если угодно, автономный комплекс. Он «выпер» из мальчишка, но ведь не из каждого мальчишка в тех очерках он выпирал. Чтобы «выпереть», он должен был уже сформироваться в душе ребенка. Вообще-то такие вещи передаются по наследству, точнее — формируются путем воспитания в самом раннем возрасте. О детстве Солженицына известно крайню мало. Отец (учитель-полкостеи) погиб при страшных обстоятельствах еще до рождения сына. Так что он мог влиять на формирование мальчишка только как нечто идеальное и ассоциирующееся с представлениями о старой России (в «Круге» сказано: «Нержен родился, «когда только что убили и вынесли в Мировое Ничто чье-то большое дорогое тело»). То есть отец — лишь некий прекрасный символ. Непосредственный импульс семейной традиции в отсутствие отца могли идти только от матери и ее родственников.

По материнской линии АИ происходит из семьи богатых ставропольских землевладельцев Шербаков, которые в «Красном колесе» выведены под фамилией Томчаки. Семейка была та еще. Первое слово, которое выплывает при ее описании из сина Ирины (в реальности — тетка Солженицына) — «ссора». Эта тетка пребывает в постоянном конфликте со своим мужем Романом (братом матери писателя Таскина), муж — с отцом Захаром («это состояние их было чаще лады»). Пример: «Отец тяжелым охровым посохом с размаху ударил сына, а сын, в той же первобытной ярости, выхватил из английского кармана револьвер». Кстати, именно к деду Захару (Томчаку, конечно) применяет писатель словечко «нахрапист».

Таковы залатки семейства, в котором родился Саня. Можно представить себе, как там, лишившись роскошного дома, «Ролс-Ройса» и прочего, ненавидели совласть. Эта ненависть чувствуется в показаниях Ирины Шербаков, которые опубликованы в свое время журнал «Штерн». Общая ненависть. Не столько даже к власти, сколько к миру вообще, охватывающее все. И в частности — к родственникам, к «нашей семье» Шербаков, которые «жили как свиньи». Конкретно о матери Солженицына сказано мягче: «Она была заносчива, консервативна и вздорна» (отчасти похоже на АИ). Впрочем, конкретная направленность ненависти не так уж важна, важны отношения в семье,

формирующие в ранний период жизни ребенка (как раз до шести лет) программы его будущего поведения. Похоже, они (отношения) были алчными, но ведь это было бы не так, тот самый гнус, в котором человек формируется.

Так что в Нахрате нет ничего сверхъестественного. Это просто структура в душе, образовавшаяся под влиянием атмосферы в семье, несущей традицию конфликтности. Да еще и — особо озлобленной. Эта структура нацелена человека на то, чтобы вырваться из этого дла любыми средствами (таким средством для АИ в конце концов оказалось писательство), а с другой стороны — держала его, заставляла все время искать способы вернуться в родимое лоно (либо — в среду, сходную с этим лоном по тяжести жизни). Ибо — это и есть соприродная Нахрату срела. Отсюда все странности поведения Солженицына, которые мы уже видели. Но помимо этого специфически семейного было еще социальное, внесенное свой вклад в формирование Нахрату. То, что в «Круге» названо «торм и пафос мой (неружный), но и Солженицынскому. — ОД» юности». Атмосфера пафосной ненависти, разлитая в стране, открыла перед идеологически индифферентным Нахратом возможности работы в области социально-политической, научила новым приемам борьбы. С кем? Не важно. Со всеми. Можно и со своим поколением.

Продолжим. Нахрап действительно все рассчитал. Он провел человека через потерю архива, страх ареста и гибели его литературного дела. Эта ситуация опасности (или, во всяком случае, — субъективного переживания опасности) интенсифицировала его писательство — закончить ранее начатое, успеть осуществить то, что задумал... И вот в этой лихорадке в какой-то момент (скорее всего где-то во второй половине ноября 1966-го — между рекомендацией секции прозы МОСП «Корпуса» к печати и смелым выступлением писателя в Институте востоковедения) он вдруг окончательно осознает, что именно вызывающее поведение приносит наивысшие дивиденды.

ПИСЬМО К СБЕЗДУ

В конце мая 1967-го наконец состоялся долго откладывавшийся Четвертый съезд Союза писателей СССР. Солженицын к нему хорошо подготовился, написал письмо к съезду, в котором обличил врагов культуры вообще и рассказал, как плохо обходится с ним лично. Успех письма был оглушительным. И на съезде (около ста писателей поддержали АИ) и в обществе («Как Москва разошлось мое письмо с быстротой огня»). И особенно — у западных журналистов: «И целую декаду <...> несколько мировых радиостанций цитировали, излагали, читали слово в слово и комментировали (иногда очень близко) мое письмо».

Собственно в письме не было сказано ничего особенного — даже по тем временам. Банальности о вреде цензуры постоянно обсуждались в обществе. Другое дело, что писем к съезду об этом никто не писал. Никому не приходило в голову, что на столь очевидных вещах можно сделать громкие мои. Да и Солженицыну это первоначально не пришло в голову: «И опыт моей шаровой коробки на шее не хватало предвидеть самые ближайшие последствия. Я писал и рассылал это письмо — как добровольно-подлинимое на: «плаху»! То есть человек уже все-таки совершил сознательный поступок, а не глупую нечаянность (как было раньше), готовил для себя рубильную, как ему казалось, коммунистическую акцию: «Я видел в этом конец моей еше в чем-то не разваленной, не распластованной жизни».

А получилось нечто другое: демон в отличие от своего полупочного опять все рассчитал. Сыграл в другую игру. Прийдет несколько дней и Каверин скажет Солженицыну: «Ваше письмо — какой блестящий ход!» И Солженицын изумится: «А! Вот неожиданность! Оказалась не жертва вообще, а х-х-х, комбинация, после двухдневных гонений утвердившая меня как на скале». Здесь речь, пожалуй, идет о той самой комбинации, которую Нахрап начал, заставив АИ забрать рукописи «Круга» у Твардовского. И завершилась эта комбинация — если и не полным отождествлением писателя с Нахрапом, то — отвлечением человека волю его демона. «Блаженное состояние! Наконец-то я заняла сверлодную, свою природную позицию».

«Сверлодность» новой позиции Солженицына состоит в том, что отныне он уже почти сознательно начинает действовать по-нахрапски. Фактически его перестают интересовать возможности публикации «Корпуса» в «НМ». Он уже полностью сориентировался на Запад.

Между тем, у советских даже речи нет о том, чтобы писатель оторвался от своего писма. Речь лишь о том, чтобы он как-то открылся из западной шумихи. На встрече с секретарями ЦП, куда Твардовский везет Солженицына, редактор «НМ» говорит: «Надо немедленно печатать «Раковый корпус». Это сразу обрывает свистолеску на Западе и предуредит печатание его там. И надо в два дня дать в «Литгазете» отрывок со ссылкой, что полностью повесть будет опубликована...» И никто не возражал! — добавляет АИ. Обсуждалось только: успее ли «Литгазета» за два дня, ведь уже набрана. Может быть — «Литроссия»?

Но ничего этого не произошло. Глупость и безынициативность лит- и партчиновников и этот раз сыграли на руку Нахрапу. А Солженицын уверился в том, что система слишком слаба, и окончательно сделал ставку на Запад. И Запад сделал свой выбор. «Только с этого шумного письма вывели меня и стал напременно следить». С того же времени многие близко знавшие писателя люди наблюдают в нем перемены, которые сводятся к тому, что он стал вероломным, заносчивым, самонадеянным, безжалостным, требовательным... Например, он пытается подавить волю своей жены, предлагая ей следующий ритуал: напиши «Я» на бумаге, а потом зачеркни его. В этот период многие отшатываются от писателя.

ДВЕ ПАРАДИГМЫ

Как видим, до некоторых пор в поведении АИ преобладала парадигма «Пять звезд». С одной стороны, он пребывает в конфликте с властями. А с другой — пытается с ними сотрудничать. В связи с этим надо бы поточней разграничить две проблемы, которые в истории Солженицына постоянно путаются и затемняют одна другую.

Это, во-первых, проблема «партийного руководства литературой», каковая проблема сама по себе совершенно ясна: жесткость советской системы, бездарные чиновники, неповоротливые механизмы, метод соприалзма как руководящего для пишущих... Это действительно мешало литературному процессу вообще и в том числе с самого начала затрудило публикацию текстов Солженицына. Но есть другая проблема. Она сводится к тому, что Солженицын до 1967 года (но и позднее отчасти тоже) был и хотел быть советским писателем. То есть хотел печататься в Советском Союзе и получать от этого положенные советские блага. А Нахрап см в этом мешал — вредил, заставлял совершать глупости (как с изъятием «Круга»), ставить издателя невыполнимые условия, суетиться.

Разница очевидна. Одно дело, если человек (как Сивяцкий) все понял и сознательно избрал для себя наиболее рациональное, с его точки зрения, поведение: то, что можно здесь напечатать — печатаю здесь, то, что нельзя — печатаю там. В таком случае он понимает, за что попятится, он знает, что и с чем. Другое дело, когда человек не отдает себе отчета в том, что он делает, когда делает не он, а кто-то другой в нем. Тут трагедия: человек, обласканный гнусной властью, хочет, чтобы власть (хотя бы и поменявшаяся уже на еще более гнусную) продолжала его ласкать, но — под воздействием своего внутреннего демона он постоянно вынужден совершать поступки, которые власть раздражает. Потому, вероятно, и «спустил глубокий сателит» — итрай по их дурацким правилам: «не задулсаясь», согласился на цензуру, признал право пуск и слухов рецензентов тебя критиковать, пиши, если хочешь, хоть «Архипелаг», но только так, чтобы органы об этом не знали заранее. И получишь нормальный литературный процесс по-советски. А не хочешь, так уйди из системы, не участвуя в их литпроцессе, не таская свои тексты в журналы, откуда, как ты считаешь, их могут забрать в КГБ, пиши в стол, издавайся за границей, а не шантажируй совков такой возможностью.

Я отнюдь не пытаюсь читать мораль Солженицыну, я всего лишь voglio излагаю содержание его программной статьи «Жить не по лжи». Правда, статья эта появилась только в 1974 году, уже после всех боладий теленка (Нахрапа) с дубом, и вобрала в себя весь боладический опыт. Но, право же, по-

впоследствии, объясняя события осени 70-го года, он напишет: «Шесть последних лет я сносил глубокий прощальный семейный разлад и все откладывал какое-нибудь его решение — всякий раз в нехватке времени для окончания работы или части работы, всякий раз уступая, смятая, убаюкиваясь, чтобы выпирать вот еще три месяца, месяц, две недели спокойной работы и не отрываться от главного дела. По закону ступения кризисов отложенное хлопнуло как раз на преднобелевские месяцы».

Первая его жена, Наталья Решетовская, хоть по своей природе и «лучше» (в чеховском смысле), но ничто не была готова к тому, чтобы в полной мере разделить все демонические заски мужа. Например, когда он пребывал в прострации после изъятия «Круга» и части архива, она пыталась внушить ему грезный взгляд на вещи. «Что ты так переживаешь из-за «Пира победителей»? — возмущалась она. — Разве эту пьесу написал член ЦП Солженицын? Ее писал экз Солженицын, ходивший с четырьмя номерами. Не писатель Солженицын, а ЦП-262». Нет, так нельзя разговаривать с одержимым. Сопреживающая жена не должна была притворяться ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)? Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

Да, она все забросила ради него и детей (правда, чужих), и научную карьеру, и музыку... Она как пролетария перепечатавала его тексты, систематизировала его бумаги, собирала материалы для его произведений. Но ведь все это — для советского писателя, а не ЦП-262 и члена ЦП. И что ж после этого жаловаться: он не прощает мне, что удар 64-го года (наша первая личная драма) оказался для меня тяжелее удара 65-го (изъятие архива)?

НОБЕЛЕВСКИЙ РАЗВОД

Разумеется, это не значит, что он от нее вот так вот взял и ушел. С Решетовской писателя связывали многолетние привычки, совместно найденное добро, и вообще — он ничего не имел против того, чтобы иметь под рукой сразу двух женщин. Ону можно использовать для одних дел, другую для других. Даже когда уже все прояснилось и Солженицын изо всех сил добивался развода, он как-то сказал Решетовской: «Будь моей любовницей».

А пока идет лето 70-го. Писатель уже выдвинул на Нобелевскую премию, но еще не выбрал между двумя своими женщинами. 28.07.70-го он разговаривает с женой о премии. Вот этот разговор в передаче Решетовской: «Создается очень сложная ситуация. Могу разрешить поехать в Швецию за ее получением, но могу не разрешить вернуться обратно... Как же поступить? Он обязательно поедет вместе со мной. А как мама?... Согласна ли жить с нами за границей, если этой участи не избежать?»

Не знаю, можно ли назвать такие разговоры «ублажением любовницы»? Но все-таки, наверное, АИ и в начале 70-го еще рассматривал то, что мы назвали выше переходной парадигмой, как открытую для себя возможность: проложить жить с первой женой, выехать с ней на Запад и оттуда влиять на происходящее здесь. «Ты Теленке» есть отголосок таких размышлений: «Если бы я поехал — уже сейчас бы сидел за корректуру «Архипелага». Уже весной бы 1971-го напечатал его». В таком случае участь Светловых была бы сидеть в Союзе, беречь рукописи, воспитывать детей. А Решетовской — печатать «Красное колесо».

Но так не случилось. То ли Наталья Алексеевна слишком глупо по-женски себя повела, то ли Татьяна Дмитриевна повела себя умно по-женски... Но через месяц Решетовская, живущая в это время одна на даче Ростоплячкова, услышала утром стук в окно. Муж! Предоставим слово жене: «В то утро около Александры Исаевны мое женское одиночество ошутилось как-то особенно сильно. Я не выдержала и расплакалась».

— Я думаю, что ты здесь хорошо работаешь, в хорошем состоянии, а ты, оказываясь, рыдаешь здесь, — сказал он. — Мне приятно обнимать, целовать тебя, — продолжал он, прижимая меня к себе, и вдруг вместе со мной стал плакать. — Ты ни с кем не делилась? Ни с кем — ничего не пошла белая женщина. Я не выдержала и расплакалась».

О чем совсатоваться? Я ведь ничего не понимаю...

— Поимы, мне в романе нужно описать много женщин, не за обидным же столом мне получать героинь...

Мы растались, рыдая...>

Так Решетовская наконец поняла: «Не творчество отнимало его у меня, а... женщины». То есть — ничего не пошла белая женщина. Конечно, творчество, но — при недостатке воображения, при полном незнании жизни (кроме тюремной) — писателю иногда приходится... Но даже не это главное. Главное то, о чем мы уже говорили: человек окончательно решил сменить парадигму, идти на конфронтацию до конца, и музой этого нового (больше уже политического, чем литературного) творчества должна была стать другая женщина.

Продлжит счтенные дни, и АИ перестанет вилать, начнет прямо требовать развода. Дело в том, что близится объявление лауреатства, а он уже твердо решил получить премию с матерью своего первенца. Отпуская детали, напоминаю: 8.10 — лауреат объявлен, 14.10 — датировано письмо к Суевлову, где писатель предлагает меры по оздоровлению ситуации вокруг него в связи с присуждением премии. И в тот же день он говорит жене о Светловых: «Я все больше и больше к ней привязываюсь. Неужели ты не можешь пожертвовать... для троих?». Решетовская пишет: «Я ничего не ответила, но решение пришло мгновенно. Да, могу. Да, должна. Но вижу лишь один способ разорвать гордиев узел: уйти из его жизни, из их жизни, из жизни вообще...» Короче — съезла 36 пилллов медалина... Очнулась 16-го под вечер в больнице.

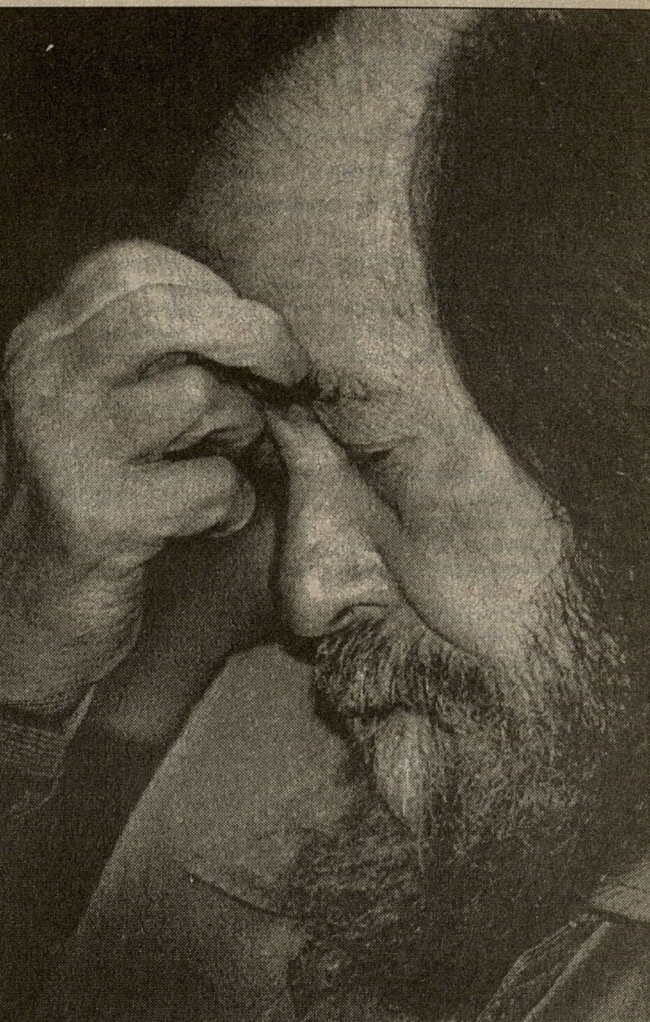
Стоило же то, что на соседней даче оказался фельдшер. Через несколько дней пришло какое-то размышление, она стала покорной, смирявшейся со всем. Узнав об этом, АИ 26-го посещает жену в больнице, говорит возвышенные и такие нужные бедной женщине слова: «Ты не представляешь, как и я у нас с тобой будут теперь отношения... Давно нам надо было думать больше друг о друге... Теперь... будем!» Наталья Алексеевна размыкает: «Я видела душу в его глазах. Я верила ей, в нее».

Вот это напарно. Лауреата, собственно, интересуют вопросы: «Когда же можно выпуститься? Спрашивают у врачей, та отвечает: «Могу хоть сейчас». «Пожалуйста!» — восклицает доверчивая женщина. «А завтра и в Рязань съездишь», — говорит АИ. Врач поражена: «Да вы дайте ей хоть день прийти в себя после больницы». Не дает, кует железо пока горячо — на следующий день супруги едут в Рязань развдаться, но их не разводит: в загсе реорганизация. Видимо, именно в этот момент АИ особенно сильно возненавидел советскую власть, заподозрил, что его из-за фамилии не развели, естественно, по своему обыновению написал каую-то жалобу. Обидно. Человеку сейчас надо другое писать... «Моя нобелевская лекция заранее рисовалась мне колокольчиком, очитительной, в ней и был главный смысл, зачем премию получать». А ему приходится писать какие-то жалобы.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

Не правда ли, эта история нобелевского развода отдает дурной литературой. Уже больно все ходило-символично. Но вообще-то с тех пор, как с 67-го года наш писатель стал все больше отклоняться от литературы к политической борьбе, его жизнь все больше стала напоминать литературное произведение. И потому совсем не случайно он дал своему «Теленку» (начал писать как раз с 67-го) подзаголовок «Очерки литературной жизни». Это ведь можно понять: жизни, ставшей литературой.

Тут дело не только в том, что Солженицын сознательно выстраивает свою жизнь как литературное произведение. Да, действительно, сознавая свою значительность, он старается ничего не делать просто так — изыскивает ситуации и моменты, которые должны придать его поступкам и высказываниям субую аллегричность (чего стоит хотя бы его возвращение к нам с востока). Но в той же мере верно и обратное: жизнь Солженицына как-то



Мыслитель.

сама собой выстраивается как литературное произведение. То есть буквально так же, как текст, выходящий из-под контроля автора, начинающий вести за собой перо пишущего. И таким образом вбирающая в себя то, что автор, может быть, и не хотел в него вложить. Текст становится непреднамеренно символическим.

Читая такие произведения действительно поучительно, ибо в них обнаруживаешь не только то, что куда сознательно вложено автором (обычно — расхождение истинной), но и то, что автор вовсе даже и не хотел сказать. Само сказалося. Таков, если говорить о собственном литературе, «Круг» с его нетривиальной антропологической предельностью. Но такая же и «литературная жизнь» самого Солженицына. В ней много сознательно спланированного, тщательно выстроенного, но самое интересное в ней то, о чем и не подозревает писатель, что как бы случайно, как бы незаметно совпало. И получилось символ. Например, обострение отношений с женщинами, сопровождающийся процессом отрыва от старой жены, сопровождающийся нарастанием конфликта с совластью. Причем Решетовская (вспомним слово жене: «В то утро около Александры Исаевны мое женское одиночество ошутилось как-то особенно сильно. Я не выдержала и расплакалась».

Кстати, именно к деду Захару (Томчаку, конечно) применяет писатель словечко «нахрапист».

Таковы залатки семейства, в котором родился Саня. Можно представить себе, как там, лишившись роскошного дома, «Ролс-Ройса» и прочего, ненавидели совласть. Эта ненависть чувствуется в показаниях Ирины Шербаков, которые опубликованы в свое время журнал «Штерн». Общая ненависть. Не столько даже к власти, сколько к миру вообще, охватывающее все. И в частности — к родственникам, к «нашей семье» Шербаков, которые «жили как свиньи». Конкретно о матери Солженицына сказано мягче: «Она была заносчива, консервативна и вздорна» (отчасти похоже на АИ). Впрочем, конкретная направленность ненависти не так уж важна, важны отношения в семье,

формирующие в ранний период жизни ребенка (как раз до шести лет) программы его будущего поведения. Похоже, они (отношения) были алчными, но ведь это было бы не так, тот самый гнус, в котором человек формируется.

Так что в Нахрате нет ничего сверхъестественного. Это просто структура в душе, образовавшаяся под влиянием атмосферы в семье, несущей традицию конфликтности. Да еще и — особо озлобленной. Эта структура нацелена человека на то, чтобы вырваться из этого дла любыми средствами (таким средством для АИ в конце концов оказалось писательство), а с другой стороны — держала его, заставляла все время искать способы вернуться в родимое лоно (либо — в среду, сходную с этим лоном по тяжести жизни). Ибо — это и есть соприродная Нахрату срела. Отсюда все странности поведения Солженицына, которые мы уже видели. Но помимо этого специфически семейного было еще социальное, внесенное свой вклад в формирование Нахрату. То, что в «Круге» названо «торм и пафос мой (неружный), но и Солженицынскому. — ОД» юности». Атмосфера пафосной ненависти, разлитая в стране, открыла перед идеологически индифферентным Нахратом возможности работы в области социально-политической, научила новым приемам борьбы. С кем? Не важно. Со всеми. Можно и со своим поколением.

Продолжим. Нахрап действительно все рассчитал. Он провел человека через потерю архива, страх ареста и гибели его литературного дела. Эта ситуация опасности (или, во всяком случае, — субъективного переживания опасности) интенсифицировала его писательство — закончить ранее начатое, успеть осуществить то, что задумал... И вот в этой лихорадке в какой-то момент (скорее всего где-то во второй половине ноября 1966-го — между рекомендацией секции прозы МОСП «Корпуса» к печати и смелым выступлением писателя в Институте востоковедения) он вдруг окончательно осознает, что именно вызывающее поведение приносит наивысшие дивиденды.

В конце мая 1967-го наконец состоялся долго откладывавшийся Четвертый съезд Союза писателей СССР. Солженицын к нему хорошо подготовился, написал письмо к съезду, в котором обличил врагов культуры вообще и рассказал, как плохо обходится с ним лично. Успех письма был оглушительным. И на съезде (около ста писателей поддержали АИ) и в обществе («Как Москва разошлось мое письмо с быстротой огня»). И особенно — у западных журналистов: «И целую декаду <...> несколько мировых радиостанций цитировали, излагали, читали слово в слово и комментировали (иногда очень близко) мое письмо».

Собственно в письме не было сказано ничего особенного — даже по тем временам. Банальности о вреде цензуры постоянно обсуждались в обществе. Другое дело, что писем к съезду об этом никто не писал. Никому не приходило в голову, что на столь очевидных вещах можно сделать громкие мои. Да и Солженицыну это первоначально не пришло в голову: «И опыт моей шаровой коробки на шее не хватало предвидеть самые ближайшие последствия. Я писал и рассылал это письмо — как добровольно-подлинимое на: «плаху»! То есть человек уже все-таки совершил сознательный поступок, а не глупую нечаянность (как было раньше), готовил для себя рубильную, как ему казалось, коммунистическую акцию: «Я видел в этом конец моей еше в чем-то не разваленной, не распластованной жизни».

А получилось нечто другое: демон в отличие от своего полупочного опять все рассчитал. Сыграл в другую игру. Прийдет несколько дней и Каверин скажет Солженицыну: «Ваше письмо — какой блестящий ход!» И Солженицын изумится: «А! Вот неожиданность! Оказалась не жертва вообще, а х-х-х, комбинация, после двухдневных гонений утвердившая меня как на скале». Здесь речь, пожалуй, идет о той самой комбинации, которую Нахрап начал, заставив АИ забрать рукописи «Круга» у Твардовского. И завершилась эта комбинация — если и не полным отождествлением писателя с Нахрапом, то — отвлечением человека волю его демона. «Блаженное состояние! Наконец-то я заняла